

ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ



**ЕВГЕНИЙ**  
**КАСИМОВ**

**Назовите меня**  
**ХРИСТОФОРМ**



ЭКСМО  
МОСКВА  
2013

УДК 82-3  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4  
К 28

Дизайн серии А. Саукова, Ф. Барбышева

Иллюстрация на переплете Ф. Барбышева

В оформлении переплета использовано фото  
из архива автора

**Касимов Е. П.**

К 28 Назовите меня Христофором / Евгений Касимов. — М. : Эксмо, 2013. — 416 с. — (Лауреаты литературных премий).

ISBN 978-5-699-67591-3

Герой книги Евгения Касимова Христофор, едва не став жертвой аборта, рождается и получает редкое имя в честь деда и, само собой, — древнего святого. Но жить Христофору предстоит до ужаса обыкновенно — в поселке Розы Люксембург, среди угрюмых женщин в телогрейках и мужчин советского кроя. А на дворе между тем — восьмидесятые, гремит Олимпиада, и страна, танцует, движется к пропасти...

УДК 82-3

ББК 84(2Рос-Рус)6-4

© Касимов Е., 2013

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013

ISBN 978-5-699-67591-3

# Бесконечный поезд

ПОВЕСТЬ В РАССКАЗАХ



## «НАЗОВЕМ ЕГО ХРИСТОФРОМ!»

*В поезде, в бесконечно глинном вагоне — то заиндевелые стекла не прозрачны, то загораются в исцарапанных рамах золотые и черные окна полотен (никогда в них небольшие эпизоды жизни не закончатся), где в чересполосице света и холодного сумрака будут вечно сопутствовать мне — и мать, и отец, и обе любимые до печали бабушки.*

*Я зрел в чреве матери, и мать бережно и нежно носила меня. Еще не зажглась моя звезда — еще ее ковали ангелы-трудяги, еще не перебродило вино, которое выпьют в день моего рожденья, еще бушевала холодная метель над страной и не наступила благословенная весна, еще сигнал «бип-бип» не раздался над планетой...*

Отец посмотрел на счастливую мать и сказал: «А на что мы будем жить? Удивляюсь тебе, Фима». Он сказал это просто и трезво и все смотрел на мать ясными голубыми глазами и не ждал ответа. Он смотрел без напряжения, легко — даже весело, — и матери все стало понятно. «Но», — сказала мать, но отец уже вышел из комнаты. «Ну и да ладно», — подумала мать и ушла на кухню готовить обед.

Было светлое холодное воскресенье, день был легкий, скрипучий, снег на карнизах лежал пушистый, белый — еще не усеянный крупной угольной копотью, в комнатах было чисто (мать с утра вымыла полы, и полы — ну просто блестели!), большая печь была натоплена, а плита на кухне только растапливалась, и дрова сильно трещали — везде было чисто, все было хорошо, как бывает хорошо в воскресенье, когда в радость все семейные заботы.

Мать помешивала ложкой борщ (плита ровно гудела, уже появилось жаркое малиновое пятно — и становилось все больше и больше) и думала, что, может быть, отец прав, что сейчас ребенок некстати, что отец, конечно, прав, что он всегда прав, а это ей надоело хуже горькой редьки — вот возьмет и оставит ребенка, и никто ей не указчик. Она утопила ложку в кастрюле, попробовала ее достать, но только обожгла пальцы, стала подталкивать кастрюлю к краю плиты — кастрюля загремела, и борщ тяжело поплыл по чистому полу (а пол — ну просто сиял!). Мать опустила руки и заплакала. Прибежал отец, закричал, потом обнял мать и долго говорил ей на ухо разные нежные слова. И уговорил мать.

А скоро к ним заглянула бабка Матрена. Опять было воскресенье, но был сильный ветер, и снег был мелкий, сухой, колючий. Бабка Матрена похрустывала новой плюшевой жакеткой, топала маленькими валенками в прихожей и радостно ворковала: «А-а, здравствуй, Серафимушка! Здравствуй, доня моя! Дай-ко я тебя поцелую. М-ма. А где моя внуча? А-а! Вот она, моя внуча! На-ко, Оленька, гостинчик тебе от баушки». Она совала Оленьке кулек с домашним печеньем — толстые желтые полумесяцы, обсыпанные сахарным песком, — а Оленька застенчиво

прятала ручки за спину и жалась к матери. «На-ко, на-ко! Что? Не признала баушку? И-и, ты ж моя ласточка! — И исподлобья, настороженно к матери: — Татарин-то твой... дома?» — «Мама!» — с оглядкой ей мать. «Ладно-ладно!» — замахала руками бабка Матрена. Вышел отец. Она поздоровалась с ним, поджав губы, глянув мельком. Она не переносила его взгляда, его ясных голубых глаз — они всегда открыто (слишком открыто!) смотрели на нее и ничего не выражали: ни презрения, ни ненависти — абсолютно ничего, они просто неестественно светились на смуглом крепком лице. Никто никогда не смог бы ее переубедить, что отец не татарин, что в ней самой, исконно русской, больше татарской крови, чем в нем (вернее, в нем ее совсем не было; болгарская, турецкая, молдавская — да, а татарской — ни капельки), и это подтверждали ее скулы, ее треугольные глаза — хотя и зеленые. «Мама, мама! Да он болгарин», — говорила мать. «Болгаре, татаре — все одно!» — угрюмо отвечала бабка Матрена.

Страх к татарам был накоплен всей длинной памятью ее рода. Для нее это была та темная, непонятная сила — туча, сверкающая кривыми мечами, — та жестокая воля, которая тугим арканом перехватывала горло — до черной пузырящейся крови на губах, та мутная волна с Востока, что в щепы разбила ладью русской жизни и сотни лет носила эти щепы на гребне и крутила в водоворотах. И когда схлынула волна, когда светлый песок поглотил эту черную могучую силу — остались смутные воспоминания, и они песнями и былинами передавались из уст в уста, и не вытравило их едким временем из этой длинной памяти ордынское иго. И маленькая девочка Мотя, заигравшись во дворе до сумерек, слышала от матери:

«А ну домой! А то вон татарин скачет — сейчас унесет!» И она с ужасом бежала в избу, и хоронилась на печи, и там тихонько лежала, зажав в руке краюшку хлеба, и смотрела широко раскрытыми глазами, как в горнице зажигают керосиновую лампу и по стенам начинают ходить тени, и слушала березовый стук веретена и заунывный голос бабки, и чудились ей косматое облако пыли, дикие гортанные крики, визг — пронзительный и хрипатый, сильные безжалостные руки, косящий свирепый глаз, и топот копыт, и скрип повозок, и бесконечно длящийся полон.

Мать увела бабку в детскую, усадила на сундук, покрытый пестротканым половичком, начала разговор. Бабка взяла на колени Оленьку, гладила ее по русой голове темной ладошкой, расспрашивала мать, что да как. Тут мать ей и открылась. Бабка заволновалась, пустила внучку на пол, твердо постукивая кулачком по колену, стала выговаривать: «Не слушай его, ирода! Знахарку ей! Я вот тебе дам знахарку! И не выдумывай. А как я вас пятерых ростила?! Говорю тебе: не слушай его. Я нянчить буду, коли вам лень. А мальчик будет. Мне только раз посмотреть — я уж вижу. Да я сама с ним поговорю. Георгий, поди-ко сюды».

Отец встал в дверях и вежливо так (а глаза голубые-голубые!): «Не суйтесь вы, мамаша, не в свои дела, а езжайте-ка домой, а то как бы вам, мамаша, через вашу длинноносую любознательность и расторопность, чего не вышло». Бабка Матрена обмерла вся. «Как это? — еле губами шевелит. Но с перепугу, видно, закричала: — Да ты, милоч, мне не угрожай! Управу-то... найду на тебя!» Но отец уже не слушал ее. «И откуда только такие берутся? — задумчиво сказал он и шагнул из комнаты. — Кому

мать, а кому...» — и тут отец выругался похабно — как железным прутом ударил. Бабка Матрена остолбенела, потом мышкой, серым комочком пуха заметалась неслышно. Мать заплакала. Оленька прижалась к матери и тоже заплакала. «Георгий!» — без сил закричала мать. «К свиням собачим!» — был ответ из прихожей. Хлопнула дверь.

Вся следующая неделя была полна слез, ругани и взаимных упреков. Мать твердо сказала н е т — больше, конечно, из упрямства и гордости, но в то же время она чувствовала неестественность и унижительность положения, в которое ее ставят. Нет, твердила она себе, нет! Я сама все решу.

И опять было воскресенье. Оленьку увезла к себе бабка, а мать с отцом ушли в парк и там долго гуляли по засыпанным снегом аллеям. Отец протапывал тропинку в сугробах большими серыми валенками, за ним слабо шла мать, похрустывая крохотными ботиками с лаковыми застежками. Отец оборачивался и, сияя глазами из-под седого меха китайской шапки-ушанки, говорил матери, чтобы шла осторожно, и мать улыбалась треснутыми губами.

Жидкие тополя и березки вмерзли в суглинок; на болоте, посредине парка, торчала из-под снега клочковатая пожухлая осока, но парк уже начали устраивать: над чахлыми кустиками акации и сирени встали толстые гипсовые пионеры, беззвучно трубя в пионерские горны сквозь снежные сурдинки, скрюченные футболисты и широкоплечие купальщицы. На одну из купальщиц кто-то пристроил розовые женские трусики. «Тьфу, поганцы!» — сплюнул отец и засмеялся.

У матери замерзли колени, и отец сказал: «А пойдем в ресторан!»

В фойе мать покрутилась перед зеркалом. «Ой да, Жора, неудобно. Я не одета. И не причесана». — «Ничего», — отвечал отец. Сам он — хоть и был в валенках — нисколько в себе не сомневался.

Больше всего мать поразило то, что отца здесь все знали — от швейцара до директора, с которым он поздоровался за руку. Одна официантка, пробегая мимо, показала отцу язык. «Чего это она?» — опешила мать. Сели за столик. «Так, — сказала мать. — Теперь мне понятно, где ты пропадаешь». Она недобро посмотрела на отца и ткнула его в бок. «Чего ты!» — хохотнул отец. Подлетел официант. «Ба! Христофорыч! С супругой?» Отец напыжился и стал торжественно заказывать: «Ты там... э-э... рыбки... антрекотиков... ну-у... и сам знаешь».

Когда принесли вино и водку, он опять же торжественно налил в мутные зеленые рюмки, напряженно помолчал и вдруг заявил: «Мы назовем его Христофором!» Мать засмеялась: «Да ты что, Жорик? Не-ет. Давай Вовочкой? А? Володенькой?» Отец выпил и улыбнулся: «Фима! Мы назовем его Христофором». «Как же... — растерялась мать. — Как представляю, что грудью какого-то Христофора кормить...»

Ну так вот, оставили меня в покое. И когда расквасило дороги и нежно зазеленели тополя в палисаднике, мать благополучно разрешилась. И назвали меня Константином.

Бабка Матрена сказала: «Не будет ему счастья. Раз не хотели сразу — не будет счастья. Спаси и сохрани. Дай-ко я его окрещу хотя бы. Все ему легче будет». Оленька была крещеной. Бабка ее тайком в церковь носила, но мать узнала — и сильно они тогда поругались. И тут мать уперлась — она как раз в партию вступила. «Нет, — говорит. — Нет. Не трогай

его, мама, а то мы с тобой снова поссоримся. Я член партии, я атеист, как ты не понимаешь, мама. Да меня с работы выгонят, если узнают». — «Да не узнают, — говорит бабка Матрена. — Я тихонечко, а ты будто и не знала вовсе. Сама-то крещеная небось. А зачем он через твое упрямство страдать должен?» — «Как ты не понимаешь, мама, поп каждый месяц перед горьким отчитывается». — «Это наш батюшко-то?! Типун тебе на язык!» — «Нет!» — отрезала мать.

Бабка Матрена плюнула и ушла. И дома, открыв скрипучую дверцу маленького буфета, изъеденного древооточцем и пропахшего перцем, лавровым листом и какими-то настойками, помолилась на икону Пресвятой Богородицы, сокрытой в углу этого пряного и ветхого буфета. И лик Богородицы был темен и скорбен.

### ЯСНОЕ МОРЕ

*Поезд летит сквозь вьюгу, сквозь снежный морозный ветер, сквозь ночь, сквозь мутный мрак, застилающий и звезды, и далекие огоньки деревень. В грязном заплеванном вагоне, где тусклый мерцающий свет, где стужа кинжально врывается в щели окон, — за ободранным столиком сидит человек. Редкие волосы поминутно спадают на лицо — он резко закидывает их назад корявой пятерней. Он приближает ко мне испитое лицо и напряженно шевелит раздутыми обметанными губами. Сквозь зиму, сквозь прошлое мчится поезд... И под грязно-желтым светом, который источает вагонная лампа, — этот полночный морок, эти человеческие руины, распространяющие горький и сладкий запах распада.*

Да нет же, ясное море, они тогда и не думали об этом, они тогда очень хотели ребенка. Но когда Серафима опять забеременела и пришла к Георгию, тот ее сразу спросил: «А на что жить?» Я его понимаю: не можешь обеспечить семью — не плодись, ясное море! Девятьсот пятьдесят в месяц — этого мало будет на семью. Это уже — авантюризм. На одного — вот так! Ого-го! Мы, например, в ресторане втроем посидим — возьмем три водочки, ну там бирлянство какое... Еще и коньячку напоследок — для полировочки! И за все про все — сто рублей! Понял? А давай я тебе «Титаник» сыграю! Вещь! А где струна? Запомни, ясное море, настоящая гитара — семиструнная!

*Семиструнная, со скрипучими медными струнами, рассказывает, как из английского порта Саутгемптон в Нью-Йорк плыл белоснежный гигантский пароход — плавучий город, ярко освещенный электричеством, играл оркестр, и красивые люди красиво танцевали, и даже у официантов были безмятежные лица. А на мостике стоял красивый седобородый капитан Смит и холодно смотрел в тихую безлунную ночь.*

А может быть, он просто боялся, что опять будет девочка. И ругались они часто, но не из-за тебя у них это началось, просто разные они были.

Однажды Георгий и дружки его в домино играли и пиво пили. Серафима вбегает в комнату — лицо безумное — и, знаешь, так торжественно: «Товарищи! Умер Сталин!» А Георгий и дружки его посмеиваются, попивают пивко и стучат костяшками. Умер и умер, говорят, что ж нам теперь, Интерна-

ционал петь? Тут Серафима на них и понесла: и такие они, и сякие, а ты, кричит, и на Георгия указывает, кулак недобитый и враг народа. Дружки все посмеиваются, а Георгия как судорогой скрутило. Как закричит на Серафиму: «Ид-ди отсюда! Ид-ди!» И кружкой на нее замахнулся. А сам побелел весь и трясется. Ох и взбеленился он! Ну просто бешеным стал. «Ид-ди, — кричит, — отсюда, рвань несчастная! Убирайся!» А Серафима ему строго: «Только посмей беременную женщину ударить!» — и дверь входную открыла. Соседи начали выглядывать. Трофим Степаныч — из квартиры напротив — подошел смело к Георгию и говорит: «Как ты смеешь, она же в положении. Хулиган!» Георгий посмотрел на него ясными глазами и тихо так ему: «Уйди, Троша. Уйди от греха подальше. Мы тут сами разберемся». А сам трясется весь. А Трофим Степаныч в раж вошел, ничего не замечает и вроде бы как сам себе нравится — такой он мужественный. «Негодяй, — говорит. — Не-го-дяй. Товарищи! Надо милицию вызвать. А то, может, и...» — И так со значением Георгию в глаза посмотрел. Дружки начали подниматься, но Трофим Степаныч не сдрейфил, не обфунился, а дерзко так стал всех оглядывать. Тихо, говорит Георгий своим дружкам, и те садятся на свои места, закуривают папиросы и начинают нервно мешать домино. А Георгий потихонечку Степаныча к двери подталкивает. Довел до порога, развернул, взял за борты пиджака и головой его — тресь! Так и затрещал костюмчик! Трофим Степаныч упал, глаза закатились, хрипит весь. Соседи как заголосили: «Убил! Убил! Милиция!» А Георгий борты от пиджака аккуратно так на стул повесил — борты-то так и остались в руках — начисто оторвал! —